

Глава 4

Максим Грек



Находка рукописей со списками сочинений крестьянских писателей Урала и Сибири, живших в XVIII в., была для нас интересной и приятной неожиданностью. Но ехали мы в первую очередь все же не за ними, а за памятниками древнерусской письменности и печати, созданными еще до церковной реформы Никона и возникновения старообрядчества, т. е. до середины XVII в.

Убегая от преследований церкви и государства на далекие восточные окраины, старообрядцы среди самого дорогого имущества брали с собою древние книги. Древность была синонимом правильности, авторитетности. Гарантией отсутствия ненавистных «новин». Новые времена несли новые тяготы; золотой век благочестия, справедливости, достатка привычно виделся в седой старине. В таких воззрениях немало традиционного крестьянского консерватизма. Но они же помогли сберечь бесценные сокровища русской национальной культуры, в том числе — уникальные памятники нашей древней живописи, письменности, печати. Хранение древних книг жесточайше преследовалось, особенно при царевне Софье. Да и позднее целеустремленных губителей старины было предостаточно. Но чем суровее наказывали староверов за хранение дониконовских древностей, тем изобретательнее укрывали огромные древние фолианты кержаки, «невежественные суеверцы», по аттестации государственных и идеологических деятелей просвещенного XVIII в. Усилившийся после петровских реформ научный интерес к отечественной истории и культуре развивался иными путями и не уменьшил отчужденности между «раскольническими» ценителями старины и казеннокоштными. Очень показательна в этом плане упоминавшаяся в предыдущей главе борьба Василия Никитича Татищева со старообрядцами. В ходе карательных акций Татищева на Урале в тайных кержацких убежищах военные команды захватили немало древних книг. Но на Урале же талантливейший русский историограф Василий Никитич добыл старообрядческую рукопись, которая содержала очень интересный пергаментный список русской летописи, сообщавшей немало неизвестных науке фактов. Позднее этот список, по-видимому, сгорел во время большого пожара в имении Татищева. Если бы эта «раскольническая летопись» (как ее назвал Татищев) сохранилась до наших дней, не существовало бы многих загадок, над которыми сегодня ломают голову ученые.

Один за другим создаются и растут в XVIII в. старообрядческие центры на окраинах страны, в глухих лесах. И библиотеки древних книг, собираемые настойчиво и заботливо, укрепляют авторитет таких центров. На севере Выгореция создаст даже свою литературную школу, традицию, свои мастерские по переписке рукописей, а также обширнейшую библиотеку древних книг.



За сотни верст от первого скриптория мы наблюдали, как хозяин дома, Иван Тарасьевич, кончал переплетать рукопись...

Вскоре после знаменитой Гангутской победы будет одержана еще одна, не менее масштабная, хотя и не столь славная: победа над полугораста тысячами керженских старообрядцев. Но разгром Керженца укрепит более восточные центры раскола. Этот поток беглецов с Керженца на Урал очень четко прослеживается по сборнику, найденному нами в скриптории. Немало ценнейших памятников отечественной письменности, которые уже тогда считались весьма древними, было тайно перевезено в те годы на восток. В лесных «кельях», «хижах», а подчас и в простых крестьянских избах новых старообряд-

ческих районов Урала и Сибири укрывались тогда жемчужины древнерусской культуры. Мы никогда, по всей видимости, не узнаем, сколько их там было — очень многое погибло во время столетий преследования старообрядцев, кое-что давно уже попало в руки собирателей, в столичные коллекции. Главной целью нашей экспедиции было выяснить, не осталось ли там хоть что-нибудь до наших дней.



«в то время, как хозяйка изготовляла опояски «на плашках»»

Рукописной глубокой старины в Сибири оказалось ныне меньше, чем, например, в Поморье. Да и давалась она с гораздо большим трудом — сказывались и огромные сибирские расстояния, и былая замкнутость поколений сибирских кержаков, и полное отсутствие надежной информации о маршрутах миграций старообрядцев. Но то, что осталось и что удалось найти, явно стоило трудов. Для меня на первом месте здесь до сих пор один рукописный сборник, обнаруженный нами во время третьего экспедиционного сезона.

Наш путь в ту алтайскую долину лежал через Енисей и Саяны: мы прошли в обратном направлении маршрут старообрядцев-переселенцев конца XIX и начала XX века. Собирая на Енисее сведения о районах выхода тамошних старообрядцев, мы все чаще слышали об этой алтайской долине, впервые заселенной русскими еще двести лет назад. Вольная крестьянская колонизация создала здесь тогда несколько деревень, разросшихся позднее в зажиточнейшую волость, родину первых фермерских хозяйств России. Позднее в одной из них возникла значительная книжная коллекция. Но в наши дни старообрядчество утратило здесь почти все свои позиции. Не было никаких сведений о существовании сколько-нибудь замкнутых старообрядческих поселений, хотя бы и очень небольших, о сохранении старого жизненного уклада. Обычный современный район Алтая, зернопроизводящий и животноводческий. Совершенно иная экономика, чем в охотничьих поселениях на Енисее, где мы были раньше.

И все же кое-что из услышанного нами километрах в двухстах от первого скриптория заставило нас рискнуть и отправить группу именно в этот район.

Так в июле 1968 г. я оказался в крохотной избушке, стоявшей на краю пестрого поля цветущих маков. Невдалеке от него, за околицей богатого села, земля сразу как-то круто поднималась вверх — начинался склон горы, густо поросший темными пихтами. Мы уже знали, что ее зовут здесь горой Филарета, по имени старика, больше века назад жившего в одинокой избушке на вершине горы и промышлявшего ремонтом и перепиской древних книг. О Филарете нам рассказывал директор местной школы, человек любознательный и весьма уважаемый, депутат краевого Совета. Он был дальним родственником Филарета — почти все старожилы этих мест в родстве между собой. Недавно несколько человек во главе с директором предприняли поиски хижины Филарета и действительно обнаружили ее остатки с поленицей дров возле нее. Высохшие почти до невесомости листовенные поленья они привезли в село в качестве доказательства своей находки. Старики еще слышали рассказы о том, как крестьяне села хитроумно прятали Филарета от бдительности церковных властей — в соседнем селе прочно обосновалась тогда православная миссия и гневные антицерковные филиппики Филарета были неплохо известны миссионерам.

В мастерской Филарета был создан своеобразный стиль примитивного украшения рукописи, мы несколько раз видели уже этот орнамент в соседних селах, где изредка попадались рукописи, созданные в избушке на горе в годы отмены крепостного права. Несколько

позднее в полусотне верст отсюда мы нашли и одного продолжателя дела Филарета — старика Ивана Тарасевича, владельца огромной окладистой бороды. Его книжный орнамент несколько напоминает орнамент Филарета. Иван Тарасевич имел неплохую библиотеку сочинений византийских писателей, им же переписанных. Мы застали его, когда он кончал работу над одной из таких книг. Как обычно, набор инструментов был весьма традиционным. Нам удалось сделать несколько неплохих фотографий, которые были напечатаны в Ленинграде, в Трудах Отдела древнерусской литературы Пушкинского дома. Они были быстро перепечатаны в Англии оксфордским профессором Дж. Симмонсом, специалистом по истории русской литературы и русской книги, которому, например, посчастливилось ввести в научный оборот Букварь Ивана Федорова.

В избушке близ макового поля мы надеялись найти еще несколько книг Филарета и не ошиблись. Впрочем, эти книги нам так и не достались: хозяйка избушки обладала характером суровым и непреклонным, — сказав нам с самого начала «нет», она так и не изменила этого решения, несмотря на длившиеся добрую неделю уговоры. Однако неделя бесед в жарко натопленной (в середине июля!) избушке не была напрасной. Мы узнали немало интересного о нашей хозяйке (назовем ее условно Анной Сергеевной). Да и она к концу этой недели стала не то чтобы верить нам, но набираться отчаянной смелости: а что будет, если рискнуть признать, что мы и впрямь явились к ней только ради интереса к древним книгам.

Долгая жизнь Анны Сергеевны была трудной, начиная с самых детских лет, когда ей приходилось батрачить на богатых односельчан. Она гордо продемонстрировала справку об этом, бережно хранящуюся в одной из филаретовских рукописей.

Эта старая, истертая справка 1920-х гг., выданная сельскими властями, и смелый, неустрашимый нрав Анны Сергеевны неожиданно сослужили важную службу истории русской национальной культуры. За четыре десятка лет до нашей экспедиции, в годы коллективизации в селах этой долины шла бурная и кровавая ломка общественных отношений. И чей-то неумный приказ обрек на уничтожение наряду с прочими атрибутами «кулацкого» быта богатейшую коллекцию старопечатных книг и рукописей, которая собиралась здесь крестьянами со времен Екатерины Великой. И именно тогда недавняя батрачка Анна Сергеевна рискнула спасти кое-что. Книги провели зиму в сарае без крыши, несколько нижних фолиантов глубоко ушли в снег, их не заметили, когда на двух возах вывозили эту уникальную библиотеку для варварского сожжения. Весной Анна Сергеевна нашла их и забрала к себе.

Среди них было первое издание Соборного Уложения 1649 г., редчайшая Виленская псалтырь 1575 г., выпущенная в свет учеником Ивана Федорова Петром Мстиславцем, и большой рукописный сборник XVI в. — самая, пожалуй, ценная рукопись из всех, которые мне посчастливилось найти в Сибири.

* * *

Впервые этот внушительный фолиант появился в нашем поле зрения к концу четвертого дня непрерывных бесед в избушке Анны Сергеевны. К этому времени наша хозяйка уже кое-что знала о нас. Она легко могла проверить по собственным впечатлениям наш рассказ о енисейских скитах. Вскоре после войны она сама побывала в тех местах, проделав для этого немалый путь через Новосибирск и Красноярск.

Правда, Палладия, хозяйина скриптория, она так и не захотела поглядеть: уже невдалеке от его заимки она узнала о каких-то нарушениях старинной традиции в этих местах и решительно повернула назад. Но, во всяком случае, она знала вполне достаточно, чтобы проверить правдивость нашего рассказа. В тот памятный июльский день Анна Сергеевна сказала нам как бы между прочим, что у нее давно уже хранится какая-то «летописная книга». И вот наконец рукопись извлечена из сундука и красуется перед нами.

В научном описании этого памятника позднее будет сказано следующее: «В лист, на 663 листах — 6 листов литературных. Написан полууставом и скорописью разных рук конца XVI в. Бумага с водяными знаками: 1) четырехчастный гербовый щит (Баденский герб), с лигатурой LB, почти совпадает с Briquet № 1075, 1587 г.; 2) кувшин одноручный с литерами P/B почти совпадает с Briquet № 12793, 1583 г. На чистом листе в начале книги запись скорописью второй половины XVII в.: «Книга Григорей Синаит». На листе 2 об. запись скорописью другой руки XVII в.: «Сия книга Владимирского Рождественского монастыря церковная». На листе 3 — заставка растительного орнамента. Переплет — доски в коже, медные жуки и застёжки».

Далеко не все эти детали мы могли увидеть сразу. Зима, проведенная под снегом, не прошла для рукописи даром. Многие листы книги слиплись в сплошной блок, ни один водяной знак поэтому не просматривался. Правда, книга открывалась в двух или трех местах. Именно здесь листы были порваны. Это были следы неудачных попыток Анны Сергеевны разлепить книгу более тридцати лет назад. К немалой чести нашей хозяйки должен заметить, что Анна Сергеевна немедленно прекратила эти попытки, как только обнаружила вред,

который она наносит рукописи. Рассматривая эти несколько листов, мы заметили, что кое-где чернила угасли почти совсем на подмокшей бумаге, листы в левом нижнем углу при малейшем прикосновении должны были распадаться на мелкие фрагменты. Однако книга не потеряла ни одного своего листа, и это настраивало меня оптимистически: я видел уже раньше поразительную по кропотливости и тщательности работу реставраторов древней бумаги, ясно читал в инфракрасных или ультрафиолетовых лучах тексты настолько угасшие, что при обычном освещении лист казался совершенно чистым. Забегая вперед, скажу, что рукописи нашей очень повезло: она попала в великолепные руки реставраторов Государственного исторического музея, которым удалось спасти более 98 процентов текста; да и в остальном многое угадывалось по смыслу.

Но все эти реставрационные заботы были еще впереди, а пока мы внимательно разглядывали те несколько листов, на которых книга могла тогда открываться. Желтоватые железосинеродистые чернила, четкий полууставный почерк, свидетельствующий о второй половине XVI в. На одном из листов, к нашей радости, оказалась дата — 1591 г. Дата эта была написана к тому же несколькими различными способами — от сотворения мира и от рождества Христова, по лунному и по солнечному календарю, по годам правления царя и патриарха. Прямо пособие для студентов по исторической хронологии! Это была так называемая «черная дата», т. е. написанная на бумаге чернилами, в отличие от «белой» — даты водяного знака на бумаге рукописи; «белая дата» менее точно датирует рукопись (бумага ведь могла залежаться, и со дня ее изготовления до времени, когда ее коснется перо писца, могло пройти несколько лет). Но, с другой стороны, наша «черная дата» указывала лишь на время создания одного из произведений, переписанных в рукописи. А много ли лет прошло от создания этого произведения до переписки его в нашей рукописи, мы пока не знали.

Сочинение, о дате создания которого сообщало наше «пособие по хронологии», было не только хорошо известно, но и по праву считалось одной из важных вех в истории древнерусской литературы. В оглавлении нашей рукописи оно было названо: «Житие и подвизи святого благоверного князя Александра Невского чудотворца». Это была одна из более поздних редакций биографии знаменитого полководца. Какая именно редакция, мы определить пока не могли. Пробуждение в XVI в. интереса к событиям трехвековой давности было фактом давно известным и понятным. Еще в 40-х гг. XVI в. по инициативе главы Русской Православной Церкви митрополита Макария было торжественно про-

возглашено почитание Александра Невского в качестве общерусского святого. Созданные вскоре после этого новые редакции его биографии умело проводили мысль о преемственной связи ратных подвигов дружин Александра Невского и Дмитрия Донского с военными делами последних времен — славным взятием Казани (см. рис. 12 на цв. вклейке).

Вслед за временем создания этой редакции «Жития Александра Невского» наша рукопись сообщала и о его создателе. Но по древнерусской традиции имя писателя было зашифровано сложной цифровой загадкой. Эти строки попались нам на глаза в первые же минуты знакомства с рукописью. Но, к своему стыду, я так и не сумел тогда раскрыть эту тайнопись и прочесть имя писателя. Уже позднее оказалось, что цифровая загадка была написана с ошибкой и поэтому вообще не решалась. Безуспешно пытаясь в доме Анны Сергеевны решить эту головоломку и прочесть имя древнерусского книжника, мы и не подозревали, как хорошо оно было нам знакомо.

В начале рукописи было несколько чистых листов. Они приклеились к верхней доске переплета, и верхняя треть последнего из них отставала от остального блока листов. На обороте этого листа мы сразу же увидели приведенную выше запись скорописью XVII в. о принадлежности книги Владимирскому рождественскому монастырю. Это вполне согласовалось с тем немногим, что мы знали о содержании рукописи: именно здесь до времени Петра I покоились в белокаменном гробу останки Александра Невского. Вряд ли мы сможем когда-либо узнать, какими сложными и причудливыми путями эта рукопись, выйдя из-за высоких монастырских стен, до сих пор величественно возвышающихся над Клязьмой, попала в далекое сибирское село, когда и кем была она изъята или похищена из богатой монастырской библиотеки. (Про себя я подивился совпадению: моя последняя перед переездом в Сибирь работа была как раз связана с описанием книг этой библиотеки.)

В это первоначальное знакомство с книгой времени для ее разглядывания у нас было не так-то много — Анна Сергеевна все еще сомневалась, можно ли доверить нам бережно хранимую ею рукопись. Наши беседы и переговоры длились еще около суток, и лишь к исходу последнего дня нашего пребывания в этом селе книга была передана через нашу студентку Лену Журавлеву, обладавшую замечательным даром ведения неторопливых многочасовых бесед со старообрядцами. Была уже глубокая ночь, а на следующее утро на рассвете надо было отправляться дальше.

Пришлось, отложив продолжение знакомства с рукописью до других времен, тщательно упаковать ее в хлорвиниловую пленку и спрятать в рюкзак.

* * *

Но уже на следующий день, во время обеденного привала, я не выдержал и опять распаковал книгу. Не стоило, конечно, говорить сейчас об этом — плохой пример для экспедиционных археографов, справедливо почитающих терпение и выдержку одной из главных добродетелей. Я успокоил себя тем, что неплохо использовать солнечный погожий день и проветрить на вольном воздухе книгу. К тому же каждый реставратор хорошо знает, что до применения различных специфических средств всегда имеет смысл попробовать разлепить листы книги самыми простейшими методами. Просушка на свежем воздухе — один из них. Конечно, со всяческими предосторожностями. И вот после недолгой просушки книги в тени небольшой скалы несколько листов из ее последней части почти совсем отошли друг от друга. Вместо четко выписанных буквиц полуустава здесь была краси-



Максим Грек

вая беглая скоропись конца XVI в. В глаза бросилась строка, сразу определившая серьезность находки: «и митрополит Даниил спросил Максима Святогорца...» Это было знаменитое «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — сложный и противоречивый памятник, который в науке известен также под именем «Судного списка» Максима Грека. Ибо спор главы Русской Церкви с крупнейшим мыс-

лителем XVI в. действительно происходил в обстановке суда над Максимом Греком. Точнее говоря, Максима судил митрополит и весь собор высшего русского духовенства, причем делалось это дважды: в 1525 и 1531 гг. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — созданная ярким противником Максима публицистическая обработка подлинных протоколов суда, которые не дошли до нас. Источник этот был опубликован более века назад, но тогда же выяснилось, как трудно им пользоваться — огромное количество явных противоречий и умолчаний не давало возможности сколько-нибудь четко уяснить даже, какие обвинения были предъявлены Максиму Греку в 1525-м, а какие в 1531 г.

В нескольких своих сочинениях Максим Грек едко и умело высмеивал языческие сказки об удаче, случае, «колесе Фортуны». Уж очень они противоречили строгой изначальной детерминированности всех людских судеб в христианском мироздании. Богиня судьбы посмеялась над философом, нагромоздив цепь невероятных случайностей, удачных или несчастливых, не только на жизненном пути Максима, но и в делящихся пятую сотню лет спорах о нем. «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» дало много важных аргументов для этих споров. И вплоть до 1968 г. этот памятник был известен лишь по одному-единственному списку середины XVII в. К несчастью для Максима Грека, этот список был с изъяном — текст обрывался вскоре после изложения умело и убедительно построенной обвинительной речи митрополита Даниила (была, правда, и точная поздняя копия этого самого списка, но и она обрывалась на том же самом месте).

Таким образом, аргументы обвинения были давно известны историкам, а о защите Максима мы знали очень мало. Все попытки разыскать в архивах недостающий конец были неудачны. Неизвестен был даже размер утерянной части. Многие исследователи у нас и за рубежом пытались как-то примирить противоречия источника, догадаться, о чем шла речь во второй половине. Но единого ответа не получилось, мнения расходились все больше.

Несколько случайных обстоятельств, о коих речь впереди, способствовали обострению этих споров.

Почему же суд над Максимом Греком, история этого человека постоянно занимали исследователей, почему в XX в. (а ныне и в XXI в.), как и в XVI, ведется полемика о его судьбе, о его деле?

* * *

Максим Грек прибыл в Москву в марте 1518 г. из Ватопедской обители Афонской «святой горы», старинного центра греческой и

славянской культуры. Русский государь Василий III (отец Ивана Грозного) просил прислать афонского «старца Саву, переводчика книжно, на время». Опытный специалист-переводчик должен был перевести с греческого языка церковные книги, необходимые для споров с католиками и русскими еретиками. Последние, в частности, ссылались в XV в. на Толковую псалтырь и другие греческие книги, полного перевода которых не было в распоряжении иерархов Русской Православной Церкви. Бесценные богатства греческой письменности лежали совсем рядом, в Кремле (позднее эта библиотека станет известной под именем «библиотеки Ивана Грозного»). Афонского старца Савву на Руси уже знали как умелого переводчика с греческого, но он был стар и немощен и не смог приехать. Тогда на Афоне было решено послать в далекий путь монаха Михаила Триволиса, полного сил и известного своей ученостью.

Он родился в греческом городе Арте около 1470 г. и происходил из знатного греческого рода, близкого когда-то к византийскому императорскому дому. Он был незаурядным философом, прошедшим хорошую выучку у известных гуманистов Греции, Италии и Франции. Тринадцать лет своего ученичества он провел в лучших школах Флоренции, Болоньи, Падуи, Феррары, Милана. В конце XV в. он работал у знаменитого венецианского первопечатника Альда Мануция. Изящные издания венецианской типографии — «альдины» — разносили по всей Европе гуманистические идеи, а сейчас они являются лучшим украшением любого отдела древней книги. Бережно хранятся они и в подземном книгохранилище Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук СССР.

Несколько лет Михаил Триволис, будущий Максим Грек, проводит на службе у итальянского гуманиста Пико делла Мирандола (младшего). Вместе с тем он все больше увлекается страстной проповедью католика Иеронима Савонаролы. Это имя гремело тогда в Европе, имя смелого и яростного борца против произвола и бесчинств римской курии. Папе Александру Борджиа удалось уничтожить своего самого опасного обличителя — Иероним Савонарола был сожжен во Флоренции в 1498 г. Максим видел это аутодафе и много лет спустя в далекой России написал взволнованную повесть о нем. «Повесть страшна и достопамятна» Максима Грека о страстных обличениях и кончине Иеронима Савонаролы часто переписывалась русскими книжниками. Когда после долгих и кропотливых усилий реставраторов мы получили наконец возможность перелистать найденную на Алтае рукопись, на одном из ее листов нам бросились в глаза начальные слова этой повести: «Флоренция град есть прекраснейший...» Во Флоренции Михаил Триволис, увлеченный гневными, неистовыми обличениями Иеро-

нима, становится верным его последователем, а в 1502 г. постригается в католические монахи в знаменитом флорентийском монастыре святого Марка, которым еще недавно руководил Савонарола. Но это далеко не последний крутой поворот в жизни Михаила Триволиса. Вскоре он вынужден уйти из монастыря Святого Марка, а в 1505 г. он уже был православным монахом афонской Ватопедской обители, знаменитой своими книжными богатствами и учеными. Так итальянский гуманист Михаил Триволис становится афонским православным монахом, известным на Руси под именем Максима Грека. Идентичность этих двух лиц была доказана в изящном и точном исследовании французского историка Ильи Денисова, которое вышло в 1943 г. в Париже и в Лувене (см. рис. 13 на цв. вклейке).

Отправляясь в далекий путь с Афона через Крым в Москву, Максим не имел оснований считать свое пребывание на Руси сколько-нибудь длительным: ему поручался перевод нескольких книг, а работал он очень быстро. Но судьба решила иначе: Максиму было суждено провести в России весь остаток своей жизни и умереть там через сорок лет после того, как он в последний раз видел Афонскую гору.

* * *

В Москве Максима Грека приняли с честью, поселили в Кремлевском Чудовом монастыре. Несмотря на плохое на первых порах знание русского языка, Максим быстро освоился с новой обстановкой, да и язык выучил за рекордно короткий срок. Его келья становится центром многих ученых споров того времени, к нему тянутся умные и образованные люди, недаром историки будут потом говорить о «чудовской академии» Максима Грека. Этому кружку покровительствует близкий Василию III «великой временной человек», влиятельный временщик — знаменитый «князь-инок» Вассиан Патрикеев, сам незаурядный писатель и политик, стремящийся ограничить в пользу государственной власти церковное землевладение. Обличение церковных богатств и стяжаний было близко недавнему почитателю Иеронима Савонаролы. Под несомненным влиянием Вассиана Патрикеева Максим Грек примыкает к тому направлению русской церковной публицистики, которое получило название «нестяжательства». Разговоры в келье Максима выходят за рамки ученых споров, затрагивают многие острые вопросы политики. Максим, в частности, недоволен внешней политикой Василия III: Максим — сторонник решительной борьбы с Турцией, а великий князь считает ссору с могущественным султаном гибельной для Руси и ищет союза с ним.

На следующий год после своего появления в Москве Максим обращается к Василию III с проникновенным посланием, в котором

выражает надежду, что Греция «тяжце волнуема от безбожных агарян, благочестивейшею державою царствия твоего, да изволит свободити и от отеческих твоих престол наследника покажет и свободы свет тобою да подаст нам бедным милостию и щедротами его». Свое глубокое убеждение в том, что Греция может быть освобождена от турецкого ига лишь с помощью России, «богохранимой и боговенчанной», Максим Грек не раз выражал и позднее.

Еще одно послание к русскому государю Максим Грек направляет в связи с тем тягчайшим поражением, которое в 1521 г. неожиданно нанес русским крымский хан, турецкий вассал.

Максим скорбит об этом временном поражении, воодушевляет великого князя на дальнейшую борьбу. При этом он предлагает действовать решительно и разумно, не начиная немедленной трудной борьбы с Турцией или с Крымом, а нанеся внезапный удар по Казанскому ханству. Этот дальновидный совет, как известно, позднее ляжет в основу политики Ивана Грозного, очень ценившего мудрость Максима Грека.

Запомним для дальнейшего нашего изложения этот комплекс внешнеполитических идей Максима: страстная ненависть к султанской Турции, поработившей Грецию; надежда на освобождение и возрождение Греции при помощи «богохранимой» русской державы; глубокое убеждение в ненадежности и пагубности для России любого союза с турками; наконец, немалая тактическая гибкость в определении конкретных целей борьбы с Турцией и ее вассалами. Последнее подчеркнем особо — Максим вовсе не стремился немедленно столкнуть Россию с Турцией, понимая всю рискованность подобной политики.

Одновременно Максим активно занимается своим главным делом — много переводит с греческого, пишет одно произведение за другим в защиту православия. Первое задание, перевод Толковой псалтыри, выполнено Максимом Греком с поразительной быстротой: за год и пять месяцев (в рукописи перевода почти тысяча листов большого формата: сделанное в 1896 г. издание этой книги весит более пуда). В предисловии к своему переводу Максим подчеркивает, что переведенные им тексты послужат победе православной ортодоксии над еретиками, «яко теми сатанинские их плевелы из кореня истерзати и во огнь вечный вверещи».

Максим полагал, что с выполнением этой огромной работы его миссия на Руси заканчивается, но великий князь решил иначе: он заказывает все новые переводы, наряду с которыми Максим создает немало оригинальных произведений, посвященных, в частности, защите ортодоксального православия от католицизма, иудаизма, маго-

метанства. Пишет он произведения и общеобразовательного энциклопедического характера. Его слава и авторитет все растут.

Тем неожиданнее резкий перелом 1525 г. — суд, соборное проклятие, заточение в Иосифо-Волоколамский монастырь, запрещение писать, учить. Максим не подчинился запрету, и новый соборный суд в 1531 г., еще более тяжелые обвинения, второе проклятие, ссылка в тверской Отроч монастырь. Новое заточение длится целых двадцать лет. Но странное дело. В 1525 г. Максим Грек был послан в заточение к своим злейшим врагам, и режим содержания знаменитого узника был чрезвычайно жесток. А после второго суда в 1531 г., изобиловавшего самыми страшными обвинениями, Максим Грек оказался во владениях самого искреннего своего почитателя — тверского епископа Акакия. Условия его заключения смягчаются вскоре настолько, что дважды преданный соборному проклятию Максим сможет именно в это время интенсивно трудиться над созданием новых и новых своих произведений, составлять целые собрания их. (Последняя библиография насчитывает 365 различных сочинений и переводов Максима Грека.) В его распоряжении будут и книги, и штат писцов.

Максим сможет позволить себе даже суровые обличения своего благодетеля епископа Акакия, посвятив специальное слово весьма красочному доказательству тезиса о том, что большой тверской пожар 1538 г. явился наказанием божьим за роскошную жизнь и многочисленные прегрешения тверского духовенства.

Слава знаменитого старца признается официально, когда тогдашний митрополит Макарий, несмотря на тяготеющее над Максимом соборное проклятие, включает несколько его произведений в свой огромный свод рекомендованных Церковью для чтения житий святых и поучений — «Великие Минеи Четьи». Царь Иван IV посещает келью Максима и почтительно беседует с ним. Влияние Максима сказывается и в ходе знаменитого Стоглавого собора 1551 г., принявшего ряд важных политических и церковных решений. Трое вселенских патриархов — константинопольский, иерусалимский и alexandрийский, как и афонские монастыри, хлопотали в 40-х г. XVI в. об его освобождении. Митрополит Макарий писал тогда же ему почтительные письма: «целую узы твои», но и он не мог добиться сразу освобождения Максима от этих уз, наложенных соборами 1525 и 1531 гг. Только в 1551 г., за пять лет до смерти, Максим был освобожден и с почетом принят в Троице-Сергиевом монастыре. Но формального оправдания от выдвинутых четверть века назад обвинений Максим не получил и тогда, хотя никто уже не настаивал на них.

Во всей этой истории много загадочного. Нам известно, какие страшные обвинения тяготели над ним: еретичество, волшебство

(в том числе и против великого князя), обличение богатства Церкви, жестокой эксплуатации крестьян, критика московской внешней политики, резкие отзывы о великом князе, изменческие шпионские сношения с турецким султаном и его пашами. Какие из этих обвинений соответствовали истине? Какая действительная причина расправы над Максимом стояла за официально предъявленными обвинениями?

Соборный суд 1525 г. над Максимом Греком был связан с шумным делом о втором браке Василия III: неплодие его первой жены Соломонии Сабуровой выросло в политическую проблему судеб централизованного государства в случае смерти Василия III без наследников. Вокруг вопроса о разводе и втором браке разгорелась поэтому острая политическая борьба. Максим по каноническим соображениям высказывался против развода, запрещенного церковными правилами. Против развода высказывался, вероятно, и влиятельный покровитель Максима Вассиан Патрикеев. Брак Василия III с будущей матерью Ивана Грозного, Еленой Глинской, состоялся лишь после разгрома оппозиции сторонников Соломонии. Таков один из аспектов осуждения Максима Грека, но далеко не единственный.

В феврале 1522 г. вместо сочувствовавшего «нестяжателям» Варлаама во главе Русской Церкви становится резко враждебный им митрополит Даниил. Отныне церковные власти будут находиться в острейшей вражде с нестяжателем «князем-иноком» Вассианом Патрикеевым. Суд 1525 г. над Максимом Греком был одновременно тяжелым ударом и по Вассиану, хотя последнему удалось тогда на какое-то недолгое время сохранить свое влияние. В 1531 г. Максима судили уже вместе с Вассианом. Обвиненный в различных ересьях, этот противник церковного землевладения был осужден и отправлен в заточение в 1531 г. Таким образом, и позиция Максима в деле о разводе великого князя, и его близость к Вассиану Патрикееву способствовали осуждению Максима.

Но если оба эти обстоятельства были давно известны историкам и учтены ими, то в целом вопрос об этих судах над Максимом Греком таил в себе немало спорного и загадочного. Что главное во всех явных и тайных причинах осуждения греческого ученого — дело Соломонии или борьба Максима с церковным землевладением, его высказывания о русской внешней политике или критика ошибок в русских церковных книгах, падение Вассиана или обвинение в государственной измене? Полемика обо всем этом продолжалась десятилетиями. Особенно много споров было вокруг обвинения Максима в протурецком шпионаже. Казалось, абсурдность именно этих обвинений — самая очевидная: ведь Максим Грек всегда желал победы православной Руси над магометанской Турцией, мечтал даже об

освобождении греков русским оружием, а если и порицал русскую внешнюю политику, то за недостаточную активность и умение в борьбе с «неверными». Но дело значительно сложнее. В 20-х гг. XVI в. в Москве был несколько раз турецкий посол Скиндер, грек по национальности, связанный со многими людьми из греческой колонии в Москве. Чванливый и напыщенный посол был недоволен тем приемом, который ему оказали в Москве, враждебно относился к идее русско-турецкого союза и открыто похвалялся в Москве, что поссорит султана с московским великим князем. В обвинительной речи митрополита Даниила во время суда над Максимом Греком содержались упреки по поводу сношений Максима со Скиндером, утверждалось, что Максим тайно пересылал турецкому султану и его пашам какие-то изменнические грамоты. Скептицизм многих историков в отношении этих заявлений Даниила был изрядно поколеблен, когда в 1916 г. добросовестный исследователь Б. Дунаев обнаружил в делах русского внешнеполитического архива XVI в. материалы, относящиеся к Скиндеру. Скиндер умер в Москве незадолго до суда 1531 г. После его смерти в его бумагах был сделан обыск, искали какие-то грамоты, которые он мог взять для передачи в Турцию. Нашли ли — неизвестно, но вскоре после этого митрополит Даниил сделал на суде свое уверенное заявление о том, что Максим Грек пересылал свои изменнические грамоты туркам. Б. И. Дунаев полагал, что целью этих изменческих сношений Максима Грека с турками было поссорить Россию с Турцией ради освобождения Греции от турецкого ига. В 1946 г. известный советский историк И. И. Смирнов, основываясь на этих же данных, доказывал, что Максим Грек был отъявленным шпионом, состоявшим на агентурной службе султана.

Правда, в 1968 г. фортуна опять улыбнулась своему старому хулителю: на защиту Максима встала смелая и настойчивая ленинградская исследовательница Н. А. Казакова, которая собрала веские аргументы, свидетельствующие о ложности политических обвинений против Максима. Это позволило ей сделать некоторые предположения и о содержании не дошедших до нас частей «Судного списка» Максима Грека. Она нашла даже еще один список этого памятника, но, увы, он был довольно поздним и обрывался абсолютно на том же месте, что и ранее известный список. Книга со статьей Н. А. Казаковой поступила в книжные магазины Академгородка как раз к нашему возвращению из алтайской экспедиции. Имея в рюкзаке более полный список «Судного дела» Максима, можно было питать надежду осуществить проверку, которая так редко выпадает на долю историка, — сопоставить гипотезы о содержании утраченных частей документа с обнаруженным реальным текстом этих частей.

В послевоенные десятилетия, после отождествления Максима Грека с Михаилом Триволисом, вновь разгорелись также споры об общих оценках всего его творчества, его деятельности в истории мировой культуры. Явление ли это в первую очередь западной, итальянской и греческой культуры или же — русской? Сотни его произведений, написанных в России, говорили в пользу второго положения, многие факты из его жизни до приезда в Россию — в пользу первого. Речь идет, конечно, о наиболее обобщающей оценке; многие следы былых гуманистических привязанностей Максима хорошо прослеживаются в русских его произведениях, сколь бы строго каноничными с точки зрения православия они ни были.

Недавно в этой полемике взял слово известный греческий писатель Мицос Александропулос, немало сделавший для пропаганды русской культуры в Греции и греческой культуры в нашей стране. В предисловии к русскому изданию 1980 г. своего романа «Сцены из жизни Максима Грека» он пишет: «Признаюсь, что теперь, перед выходом моей книги на русском языке, я испытываю особое волнение. Ведь это издание адресуется читателю, для которого Максим Грек и его время — главы его собственной, отечественной истории».

Во всей этой полемике, продолжающейся до сего дня, важными аргументами стали обвинения соборов 1525 и 1531 гг., когда Максима объявили, в частности, сторонником эллинской и прочих ересей.

Все эти споры и исследования опирались в значительной мере на тот противоречивый источник о суде над Максимом Греком, который, как я уже сказал, был известен нам лишь частично.

Поэтому так и повлияло на направление споров о Максиме Греке то случайное обстоятельство, что «Судный список» Максима обрывался на самом интересном месте, вскоре после конца обвинительной речи митрополита Даниила. Обвинения выглядели довольно убедительно, а о степени их достоверности можно было только гадать.

* * *

Понятно поэтому то волнение, которое я испытал, когда убедился, что мы приобрели сборник, в котором есть рукопись «Судного списка» Максима Грека. С первого же взгляда было видно, что рукопись наша намного древнее той ранее известной, над которой ломало голову столько исследователей. Конечно, первой же мыслью было проверить «черную дату», 1591 г., по водяным знакам бумаги сборника. Но в блоке слипшихся листов водяного знака не разглядеть. А после реставрации, как я уже знал, будут свои трудности: реставраторы закрепляют бумагу двойной пленкой тончайших, почти неосознаваемых микалентных листов, после чего разглядеть мелкие детали водяного

знака куда труднее. Но водяной знак я смог увидеть задолго до того, как рукопись попала в руки реставраторов. Еще в полевых условиях, а затем в Новосибирске верхние части многих слипшихся листов стали постепенно отделяться друг от друга — рукопись попала в новый температурно-влажностный режим. И уже через неделю после первого разглядывания рукописи на привале несколько листов полностью отделились друг от друга. На одном из них при рассматривании на просвет четко просматривались очертания водяного знака. Но, увы, я не помнил наизусть этого редкого баденского герба. Однако позднее, в Новосибирске, именно это обстоятельство помогло: водяной знак был настолько редким, употреблявшимся так недолго, что это позволило более точно, чем по распространенным водяным знакам, датировать рукопись. Когда мы наконец разыскали этот герб в справочниках филиграней, весь сборник получил довольно точную дату: 90-е гг. XVI в. Это примерно на полвека раньше, чем известная прежде рукопись «Судного списка» Максима Грека!

Но не меньше, чем датировка, с самого начала нас волновало другое: так хотелось надеяться, что этот список будет не только более древним, но и более полным. Серьезные основания для этой надежды появились у нас очень быстро. Тот раздел сборника, где речь шла о суде над Максимом Греком и его сотрудниками, был написан особым почерком, резко отличающимся от всех остальных почерков рукописи. Приблизительный объем интересующей нас части можно было определить, как только стали отделяться друг от друга самые верхние части слипшихся листов. И очень скоро стало ясно, что красивая убористая скоропись покрывает в два с лишним раза большее количество листов, чем то, которое должна была бы занять известная ранее часть «Судного списка» Максима Грека!

* * *

С этими первыми обнадеживающими наблюдениями экспедиция вернулась в Академгородок. Здесь была уже кое-какая литература по теме, справочники, на полках красовались последние тома дорогого голландского издания водяных знаков. Можно было приступить к предварительному описанию сборника. Он был разбит на сорок разделов, названных составителем «главами». Над изготовлением его трудилось несколько переписчиков, а кто-то один (возможно, сам заказчик) тщательно сверил потом весь текст и вписал своим характерным размашистым почерком все случайно пропущенные места, исправил все ошибки. Переписка сборника была заказана сразу нескольким писцам, работавшим одновременно каждый над своей частью. Поэтому в готовой книге перед каждой сменой почерка оказа-

лись чистые промежутки величиною от половины страницы до нескольких листов. На одном из таких листов сохранилась характерная рабочая запись: «Тренкино, не правлено, и не подписаны». Действительно, эта часть текста не выверена и записей правщика на ней нет, хотя безвестный писец Тренка, случалось, допускал ошибки.

Среди глав рукописи несколько было отведено под документы по истории России. Вот послания Кирилла Белозерского (XIV в.) к великому князю Василию I и его братьям Юрию и Андрею; за посланием следует завещание Кирилла Белозерского — тексты известны уже, но надо будет сверить. А вот и давно опубликованная грамота митрополита Макария о начале важной идеологической реформы по централизации культа местных русских святых, в том числе Александра Невского и Кирилла Белозерского. Но что это? На грамоте в нашей рукописи стоит дата: «1543». А во всех известных ранее списках грамоты она датируется 1547 г., эта дата начала реформы Макария помещена во всех курсах и учебниках русской истории. Во всех, кроме одного. Знаменитый русский историк XVIII в. Василий Никитич Татищев без каких-либо объяснений отнес начало реформы Макария тоже к 1543 г. Татищев имел в своем распоряжении многие источники, погибшие позднее, и в XVIII в., и в московском пожаре 1812 г. Поэтому к сообщенным им сведениям историки относятся с большим вниманием и о достоверности этих сведений давно горячо спорят. Теперь еще одно не подтверждавшееся ранее источниками сообщение Татищева получило документальную базу. Это не значит, конечно, что теперь мы должны передатировать реформу Макария. Старая дата «1547 г.» стоит на других известных ранее списках этой же грамоты. Но в споре о достоверности сведений Татищева появился еще один аргумент в пользу его сочинений.

По обычаю древних переписчиков рукописей, названия многих глав были красиво выписаны скорописью на верхних полях листов. Уже беглый просмотр этих киноварных надписей, сопоставление их с оглавлением всего сборника доказали, что интерес составителей к рукописи к Максиму Греку был довольно устойчивым. Шесть глав содержали списки произведений Максима Грека, а две главы были отведены под его переводы. Кем бы ни был заказчик сборника, он явно уважал Максима Грека и считал его творчество авторитетным для себя, несмотря на все судебные обвинения Максима в еретичестве, несмотря на двукратное отлучение от причастия.

А вот и предпоследняя глава этого сборника, больше всего нас интересующая: «Собор на Максима Грека Святогорца». Мне повезло: как раз в этой части рукописи листы раньше всего начали сами собой разлепляться да и вообще здесь текст оказался наименее испорчен. Хотя

и очень пока приблизительно, удалось определить, где кончается известный ранее текст. А что дальше? Далеко не все еще читается. Вот Максим отбивается от очень серьезных по тем временам обвинений в неуважении к русским чудотворцам — они были стяжателями, имели села, отдавали деньги под проценты, людей судили и били кнутами — какие же это чудотворцы? Это типичная для нестяжателей постановка вопроса. Кое в чем Максим признается, кое-что пытается свалить на Вассиана Патрикеева, заявляя, что сам он лишь повторял нестяжательские высказывания «князя-инока». На соборе происходит очная ставка между недавними друзьями. Но, хотя Вассиан и впрямь очень резко аттестовал чудотворцев-стяжателей, он на очной ставке отказался поддержать попытку Максима выгородить себя за его, Вассиана, счет. Этот спор закончился очень острым препирательством, и Максиму так и не удалось доказать ту истину, которая сейчас считается бесспорной в многочисленных научных исследованиях, посвященных тому времени: что именно Вассиан приобщил Максима к взглядам русских нестяжателей.

Соборное разбирательство продолжается; Максиму доказывают, что и греческие монастыри владеют селами и крестьянами, такие же порядки и на Афоне. В этой связи Максиму напомнили, что и сам он, и представший вместе с ним перед судом русских церковных иерархов греческий архимандрит Савва привозили из Греции в Москву жалованные грамоты, подтверждавшие права греческих монастырей на земли и села. Очень краткое сообщение русских источников об этих грамотах у Максима заставило Б. Дунаева и других историков предположить, что речь здесь шла не о земельных актах, а о таинственных письмах, содержащих конспиративную политическую переписку Максима и Саввы с Турцией — свидетельство их шпионской осведомленности в секретной документации Посольского приказа. Но еще накануне алтайской находки Н. А. Казакова предположила, что речь здесь идет вовсе не о политике и шпионаже, а о землевладении греческих монастырей, что весь вопрос об этих грамотах встал на суде в связи с нестяжательскими взглядами Максима. Теперь это предположение полностью подтвердилось.

А вот что-то новое, об этом обвинении мы ничего не знали. На соборе выступил влиятельнейший в то время дворецкий великого князя Михаил Юрьевич Захарьин. Он заявил с глухой ссылкой на «многих достоверных свидетелей», что Максим Грек был в Риме, где учился у «некоего учителя». Вместе с ним «любомудрию философскому» учились более «двоусот» других учеников, причем все они уклонились в еретику, за что Папа Римский «повеле их имати и предати казнем. И оградивше и ослонявше их дровы, сожгоша их

всех, токмо восемь их убежаша во Святую гору, с ними ж и Максим». (Рим здесь — страна, а не город; все биографы Максима согласно считают, что Михаил Триволис никогда не был в Вечном городе.)

Так тысячевековые расстояния от Флоренции до Москвы и до сужие пересуды московских бояр превратили казнь Савонаролы и двух его товарищей в сожжение целого еретического училища, при совокупив рассказ о случайном спасении самого Максима, которого сжигать никто не собирался. Историк может сейчас сделать это на редкость показательное сопоставление флорентийской реальности с московскими слухами. Конечно, и тогда, на суде, был один человек, которому было ясно, насколько далеко обвинение влиятельного дворецкого от действительности. Но Максим на соборе предпочел не ввязываться в опасный спор на эту тему даже ради исправления явных несообразностей и ошибок: выявление реальных фактов итальянской части его биографии могло оказаться для него не менее опасным, чем обвинения М. Ю. Захарьина. Ответ Максима на вопрос судей, было ли такое, весьма характерен для его осторожного поведения: «Ви-дишь, господине, и сам меня, в какой есми ныне скорби, и беде и в печали, и от многих напастей отнюдь ни ума, ни памяти нет, не помню, господине». Так говорил автор яркой повести о проповеди и гибели Савонаролы. Обвинение не имело под рукой по этому вопросу сколько-нибудь проверенных фактов, тем более очевидцев, поэтому оно ограничилось таким ответом и не развило дальше чрезвычайно опасного для Максима расследования обстоятельств его жизни в Италии. Но обвинения Максима в еретичестве не раз повторялись затем на суде и в приговоре как доказанные.

Далее следует самое интересное — судебное разбирательство по наиболее острым обвинениям собора 1531 г. в изменнических сношениях с турками и приговор. Здесь пока почти ничего не читается, листы слиплись, надо ждать реставрации.

Но в нашей рукописи далее идет еще несколько листов, исписанных убористой скорописью. Что это? Пока можно понять лишь одно: это письма, неизвестная переписка о деле Максима Грека. Письма пишут люди весьма авторитетные: великий князь Василий III и митрополит Даниил — в 1525 г., митрополит Макарий и сведенный уже с митрополитического престола Иоасаф — в 1548 г. Первые письма сообщают об итогах суда 1525 г. над Максимом (значит, они могут оказать помощь в попытке разделить обвинения, выдвинутые против Максима в 1525 г., когда Вассиан Патрикеев был еще в силе, и в 1531 г.). Письма 1548 г. вспоминают о суде над Максимом в связи с тем, что один из осужденных тогда вместе с ним переписчиков книг — Исак Собака стал к 1548 г., вопреки соборному проклятию, главой важного митро-

поличьего монастыря в Кремле — Чудова. И далее следуют материалы неизвестного ранее соборного суда 1549 г. над Исаком Собакой. К тому же оказывается, что суд этот происходил в преддверии того самого знаменитого собора 1549 г., после которого начались реформы Ивана Грозного. Между тем ни точный состав собора, ни его дата не были известны (в летописях стоит фантастическая дата: 29 и даже 30 февраля невисокосного 1549 г.). Еще совсем недавно, за несколько месяцев до нашей встречи с Анной Сергеевной, в наших исторических журналах развернулась полемика по этим вопросам. А вот здесь той же четкой скорописью записан и состав церковного собора, и его дата: 24 февраля 1549 г.

Предварительное описание сборника окончено. Для специалиста его достаточно, чтобы оценить значение находки и необходимость срочной, но крайне тщательной реставрации. И действительно, на первую же нашу просьбу быстро и деятельно откликнулись глава Археографической комиссии АН СССР С. О. Шмидт и один из старейших наших археографов, заведующая отделом рукописей Государственного исторического музея М. В. Щепкина. Здесь не было долгой бюрократической переписки, московские реставраторы сразу же согласились вне всякой очереди отреставрировать ценную рукопись. Надо было срочно доставить ее из новосибирского Академгородка на Красную площадь Москвы. Но как? Сам я не мог бросить занятия в университете, доверить столь деликатный груз почте не хотелось. Самым надежным оказался наиболее традиционный способ — оказия. В Москву возвращался из краткой поездки в Академгородок один из историков МГУ М. Т. Белявский, лекции которого я слушал еще студентом. Ему-то я, после всевозможных наставлений, и вручил рукопись. И вскоре она оказалась в руках реставратора М. Е. Никифоровой.

Прошло три месяца. Пора и мне было ехать в Москву, внимательно смотреть всю огромную литературу по Максиму Греку, сличать найденный нами текст с ранее известным, готовить источник к публикации.

* * *

В отделе реставрации бумаги ГИМа я увидел наш сборник уже весь целиком разлепленный, листы его были освобождены от переплета и лежали аккуратной стопкой. Шла кропотливая работа по подбору и подклеиванию крохотных фрагментов листов на тех местах, где они когда-то слиплись в сплошной блок; каждый лист с обеих сторон укрепляли почти неосязаемой, но прочной микалентной бумагой. Впереди была еще не одна неделя тяжелого труда, но я упрямился

реставраторов позволить мне прочитать текст о Максиме Греке уже на этой стадии реставрации. После нескольких дней расшифровки кое-где ставших уже почти невидимыми строк древней скорописи я имел, наконец, перед собою практически весь текст этого интересного памятника; неразобранных или утраченных мест в конечном итоге осталось очень мало.

Уже давно было замечено, что «Прение митрополита Даниила с Максимом Греком» — не подлинные протоколы соборов 1525 и 1531 гг., а их тенденциозная обработка (в пользу противников Максима), созданная в XVI в. (как нам сейчас кажется, скорее всего в 1542–1548 гг.). Но подлинные официальные тексты протоколов лежали все же в основе этого памятника, отразившего действительный ход процесса, многие мелкие подробности и важные детали. В ноябре 1548 г. митрополит Макарий, исходя из собственных интересов в борьбе с Исаком Собакой, эту обработку объявил подлинными официальными протоколами суда, найденными в государственной казне.

Итак, двойная тенденциозность: самих протоколов и их обработки. В обоих случаях — стремление доказать правоту организаторов судилища над Максимом. Может быть, как раз это слишком уж настойчивое стремление позволяет обнаружить реальное положение, снять тенденциозность. Ее замечали и раньше в дошедших частях судебного разбирательства по догматическим обвинениям — многие из них основывались на элементарных языковых неточностях человека, еще слабо владеющего русским языком. Так, например, однажды в переводе текста греческого писателя Симеона Метафраста Максим попутал союз «яко» (как) с союзом «аки» (как бы), и в результате был изрядно искажен смысл. Другой раз в догматическом тексте Максим неточно употребил древнерусскую глагольную форму. После первого суда над Максимом его помощники в нескольких списках этого перевода исправили ошибочные или сомнительные места. Но был еще экземпляр, подаренный самому великому князю. Его принесли на судебное заседание собора 1531 г. и торжественно зачитали «хульные строки» в доказательство еретичества Максима. У судей не было и мысли объяснить происшедшее тем, что Максим не сразу овладел русским языком в совершенстве. «Богохульные вины многие» Максима немедленно стали фигурировать в обвинительных речах митрополита и владык (см. рис. 14 на цв. вклейке).

Еще более тенденциозным было на суде сплетение политических обвинений. Лишь сейчас, читая алтайскую рукопись, можно было оценить, как ловко построил самые тяжелые политические обвинения митрополит Даниил в своей вводной речи, открывшей собор

1531 г. Оказывается, никаких тайных грамот Максима к туркам у обвинения не было. Историки, которые могли раньше основываться лишь на речи Даниила, были здесь введены в заблуждение уверенным тоном этой речи. Все обвинения в изменнических сношениях с турками построены на показаниях двух лжесвидетелей-стукачей, келейников Максима, обвинявшихся на суде 1531 г. вместе с ним (один из них остался безнаказанным, а другой был отдан для наказания самому Даниилу, которому он так помог на суде). Максим категорически отрицал на суде их показания, а сам ход разбирательства выявил здесь немало несуразного в позиции обвинения: лжесвидетели отчаянно путались в показаниях, ссылаясь друг на друга и на третьих лиц, почему-то отсутствующих или даже присутствующих на соборе, но не допрошенных. Максим держался здесь стойко, защищался умело, и любое объективное разбирательство должно было бы признать крах обвинения по этим самым острым пунктам.

Однако по ряду обвинений этого комплекса Максим в конце концов признал свою вину и «добил челом» о ней великому князю. Но во всех случаях речь шла не об изменнических действиях, а лишь о весьма вольного свойства разговорах, которые Максим вел в своей чудовской келье относительно внешней политики Василия III. В кругу тех, кого он считал наиболее доверенными своими друзьями (среди них оказалось несколько осведомителей), он критиковал великого князя за робость и нераспорядительность в борьбе с Крымом, за иллюзорные надежды добиться союза с Турцией. Он все еще мечтал об освобождении Балкан от турок русским оружием. Он непростительно опережал время — на целых 300 лет.

Свои политические обвинения Даниил умело построил, сочетая эти признания Максима с заявлениями келейников Максима, которые он выдавал за доказанные факты, кое-где исказив довольно невинные показания самого Максима, перефразировав их весьма опасным образом, — подобная практика на Руси имела, оказывается, многовековую традицию. С удивлением следил я за всей этой механикой, достаточно ясной теперь даже в изложении составителя «Судного списка», убежденного в полной виновности Максима. Гипнотизирующая стройность обвинительных построений Даниила расплзлась на глазах. Но впереди было еще много удивительного. Упорно и убедительно отстаивающий свою невинность по обвинениям в измене, Максим почему-то не опровергал обвинений в волшебстве, волхвовании. Это он-то, столь решительно боровшийся во многих своих трудах с верой в магию и астрологию! Попыток к нему, несомненно, не применяли. Тем не менее он не отвергает этих, очень серьезных по тем временам, обвинений. И все тот же его келейник подробно из-

лагает суду, как один из соотечественников наделил Максима магической способностью обращать гнев великого князя в благоволение. Для этого Максим «на своих дланех пишет слова водками, да их потрет руку о руку, да придет к великому князю, и князь великий учнет говорить ему, и он учнет великому князю против того что отвечаючи, а против великого князя длани своя поставляет, и князь великий гнев свой на него часа того утолит и учнет смеяться». Это уже, кроме всего прочего, обвинения и в умысле против здоровья великого князя. А Максим молчит.

Еще 40 лет назад историк С. Н. Чернов на основании речи митрополита Даниила правильно предположил, что процесс 1531 г. должен был строиться с нагнетанием наиболее острых политических обвинений к концу суда. Сейчас, когда я дочитывал полный текст «Судного списка», я видел, что эта догадка подтверждалась. Однако что-то не ладилось на этой самой высшей точке процесса, не все прошло гладко с обвинениями в измене; многое Максим отрицал или объяснял довольно невинным образом. И тогда в самом конце суда обвинение опять неожиданно вернулось к некоторым церковным вопросам, уже рассмотренным ранее: здесь Максим не только не запырлся, но упорно отстаивал на суде правоту вменявшихся ему в вину высказываний. Между тем позиция его по этим вопросам не могла найти сочувствия. Максим обличал русский обычай назначать главу Русской Церкви независимо от константинопольского патриарха, которому формально все еще подчинялась Московская митрополия. Хотя с точки зрения церковных законов Максим был прав, восстановление этой древней зависимости противоречило ходу истории. Мечты Максима Грека о возрождении былого величия византийской Церкви остались мечтами. Противоречие же между устаревшим церковным законом и жизнью было ликвидировано созданием независимой Московской патриархии. Но это произошло лишь через полвека после суда над Максимом.

Демонстрацией непопулярных и устаревших взглядов Максима на порядок постановления московских митрополитов эффектно закончил Даниил процесс 1531 г. Вот прочитаны все записи этого процесса и идет изложение приговора. То, что «Судный список» должен был заканчиваться приговором, было ясно давно; вот, наконец, передо мной его текст. Это приговор не только Максиму, но и шестерым его подельникам; здесь много нового: раньше думали, что некоторым из них удалось выпутаться из этого дела, оказалось, что все они были осуждены собором. Но в приговоре отчаянно перепутаны между собой решения соборов 1525 и 1531 гг.; здесь еще придется немало повозиться, чтобы понять, к какому времени относится каждая строка приговора.

Сборник, однако, не кончается приговором. К нему приложены тексты двух писем 1525 г. — митрополита и великого князя — о деле Максима. Они направлены властям Иосифо-Волоколамского монастыря, идейного центра противников Максима, где ему теперь предстояло быть в суровом заточении. Поражает холодная жестокость этих писем. «И заключену ему быти,— приказывают митрополит и великий князь,— в некоей келье молчательне, и никако же исходящу быти... и да не беседует ни с кем же, ни с церковными, ни с простыми... но точию в молчании сидети и каятись о своем безумии и еретичестве». Отлученному от Церкви мыслителю запрещено было писать и даже читать книги, за исключением нескольких, специально отобранных митрополитом,— именно на эти книги ссылался на суде Даниил в своей полемике с Максимом Греком и Вассианом Патрикеевым. Надзор за Максимом поручался монаху из семейства Ленковых, знаменитых своим усердием в исполнении подобных поручений. И однако митрополит приказывал создать систему крепкого надзора и над самим этим надзирателем — «дабы не прельщен был» Максимом.

Максим не был склонен и отнюдь не собирался «молчать и каяться». Лишь теперь смог я оценить давно известное заявление Даниила в 1531 г. о том, что Максим и в Иосифо-Волоколамском монастыре продолжал доказывать свою невиновность, обличать своих судей. Не смирился он и после второго суда.

* * *

На этом наш сборник расставался с ситуацией процессов 1525 и 1531 гг. Однако неистощимая 39-я глава сборника была еще далека от своего конца — я начал читать материалы, связанные с неизвестным ранее науке соборным разбирательством 1549 г. Оно касалось одного из сотрудников Максима Грека Исака Собаки, осужденного вместе с ним на соборе 1531 г.

Исак был известным каллиграфом своего времени, одним из творцов нового оригинального стиля книжных украшений, который позднее станет называться «старопечатным». Он переписывал некоторые из переводов Максима Грека и Вассиана Патрикеева, за что и был предан проклятию и отлучен на суде 1531 г.

Оказалось, что это не помешало сделать ему блестящую церковную карьеру. Когда в 1539 г. бурное развитие политической борьбы выбросило Даниила из митрополичьих палат в тот же Иосифо-Волоколамский монастырь «на покой», его место занял Иоасаф, близкий к нестяжателям — единомышленникам Максима Грека. Новый митрополит, подбирая себе сторонников, вспомнил об Исаке Соба-

ке. Несмотря на соборное запрещение, он в короткий срок сделал Исака дьяконом, священником, а затем и главой крупного московского монастыря — Симоновского. Даниил из Волоколамского монастыря мог лишь со злобой следить за этим выдвижением — один из монастырских старцев уже на соборе 1549 г. очень красочно описал чувства бывшего владыки. У нас нет ни малейшего основания предполагать, что Исак или сам Иоасаф хоть что-нибудь сделали в это время для Максима, заточенного в Твери.

Случилось так, что перемены к лучшему в судьбе Максима были связаны с именем человека, враждебного Иоасафу и заменившего его на митрополичьей кафедре. В 1542 г. во главе Русской Церкви стал один из наиболее знаменитых ее деятелей — митрополит Макарий. Он был сторонником идей Даниила, но притом — достаточно широким и гибким. Из найденных нами материалов оказалось, что в первое время он продолжал выдвигать Исака Собаку, он сделал его руководителем привилегированного кремлевского монастыря — Чудова. Все с большим вниманием и симпатией относится Макарий к Максиму, слава которого неуклонно растет все эти годы — годы заключения, заполненные напряженной работой по созданию все новых произведений.

Чудов монастырь находился в непосредственном ведении митрополита, его архимандрит занимал высокое положение в русской церковной иерархии. В чем-то интересы Макария и Исака столкнулись. Наш источник не говорит — в чем, другие источники, как мы сказали, вообще молчат об этом деле.

Известно, что Исак не угодил не только Макарию, но и самому Ивану Грозному — позднее в одном из своих посланий царь едко высмеял его за слишком мягкие порядки, бывшие при нем в монастыре. Но тогда, в 1548 г. царь был еще юношей, и Исак остался жить. Его устранили с полным соблюдением церковных законов.

Наш сборник так рассказывает об этом. В ноябре 1548 г. Макарий обнаружил в архиве «Судный список» Максима Грека, из которого узнал, что Исак Собака был в 1531 г. осужден собором и отлучен от Церкви. Во время последующих событий Макарий неоднократно подчеркивал, что, поставляя Исака чудовским архимандритом, он не знал об этом.

Однако на деле Макарий должен был сам принимать участие в процессе 1531 г. Мало того, формальным поводом к проведению этого процесса был как раз переданный Макарию, тогда еще новгородскому архиепископу, донос на Максима о неканоничности его переводов.

Как бы то ни было, осенью 1548 г. началось официальное расследование — как мог отлученный от Церкви Исаак, не получивший прощения, стать священником и архимандритом. Завязалась переписка по этому поводу между Макарием и Иоасафом, сначала в почтительных тонах, затем — в достаточно резких. Находившийся «на покое» в Троице-Сергиевом монастыре митрополит Иоасаф в конце концов отказался дать показания по существу, сославшись на давность событий. Тогда с разрешения царя Макарий предал в феврале 1549 г. чудовского архимандрита соборному суду, который подтвердил старое отлучение и послал Исаака как нераскаявшегося еретика в далекую Нилову пустыню. Исаак держался на соборе гордо, демонстративно подчеркнул, что он не собирался и не собирается просить у кого-либо прощения за дела, за которые он был осужден в 1531 г. (т. е. за сотрудничество с Максимом Греком). Если верить нашему источнику, Макарий провел собор 1549 г. с поразительной ловкостью: осуждение Исаака было сделано по чисто формальному вопросу о поставлении его на высокие посты без снятия соборного отлучения 1531 г.; о сущности споров 1531 г. не было сказано ни слова, имя Максима Грека не было даже названо на соборе 1549 г. Это вполне понятно — обстановка этого времени уже благоприветствовала Афонцу, его влияние признавали и царь, и митрополит. Пройдет два года, и тот же Макарий сможет уже освободить Максима (есть и другая гипотеза, согласно которой он был освобожден несколько раньше).

[illegible]

СССР. В одной из своих работ М. Н. Тихомиров рассказал о значении этого видного деятеля русской культуры для распространения печатных книг на северо-востоке России. По его заказу было написано несколько интересных рукописных сборников; мне приходилось уже описывать книги с его яркими записями. Многие из них он дарил Владимирскому рождественскому монастырю, где он был когда-то настоятелем. Таково же было происхождение и только что найденного нами сборника. Иона, интересовавшийся Максимом Греком и почитавший его, составил свой вариант двухтомного сборника произведений знаменитого мыслителя. Сейчас нам известно девять рукописей, изготовленных по заказу Ионы и состоящих из сочинений Максима Грека. А теперь еще и наш сибирский сборник — опять Иона Думин и опять Максим Грек (см. рис. 2 на цв. вклейке).

* * *

Как обычно бывает: новые факты — новые загадки.

Станным и необъяснимым, в частности, стало казаться включение в найденный на Алтае сборник, составитель которого явно относился к Максиму Греку с симпатией и почтением, клеветнических по сути материалов «Судных списков» об Афонце. Иона Думин немало сделал для прославления памяти Максима; как считает современный американский исследователь Хью Олмстед, эта его деятельность была прямо связана с попытками конца XVI в. укрепить авторитет Максима наиболее бесспорным по тогдашним понятиям образом — канонизацией (провозглашением его святым). Почему же Иона помещает «Судные списки» в заказанном им сборнике? Нам известно, как тщательно отбирал сочинения, их лучшие списки, лучшие переводы Иона, когда речь шла о сборниках, созданных по его заказу, — сам Иона в записях на таких книгах рассказывал, сколько «трудов и потов» стоило создание рукописи.

Уже после завершения работы по изданию текста «Судных списков» 1525, 1531 и 1549 гг., вызвавшего оживленную полемику, я задумался над тем, нет ли какой-то логики в подборе Ионой Думиным сочинений для помещения в Сибирском сборнике. Поиск логики составления древнерусских рукописных сборников — увлекательное, но коварное дело. Каждое литературное сочинение может знать много прочтений, а сборник таких сочинений — тем более. Мы не можем с абсолютной достоверностью восстановить ныне весь ряд ассоциаций, возникавший у человека XVI в. при чтении какой-либо рукописи. Сочинения могли включаться в подобные сборники с целями, так сказать, общеобразовательными, энциклопедическими — таких текстов немало у Максима Грека.

И все же чем больше я вчитывался в 40 глав Сибирского сборника, тем заметнее становилась некая общая линия основных, наиболее значительных разделов рукописи. Она так или иначе связана с теми темами творчества Максима Грека, которые решающим образом сказались на его судьбе в переломные 1525–1531 гг. жизни, вокруг которых возникли основные споры во время суда над ним. При чем тенденциозные искажения взглядов философа организаторами судилища заставили Максима Грека подробно осветить эти взгляды в своих позднейших сочинениях. Некоторые из них помещены в Сибирском сборнике, их окружают труды предшествовавших мыслителей, содержащие сходные интерпретации сходных тем.

Это нестяжательские идеи Максима, очень важная для него мысль об обязанности философа давать этические и политические наставления правителю, отсюда — более общие проблемы отношений между государем и мудрецом, светским и духовным началом, «Царством» и «Священством», как тогда говорили. И особенно близкое к судьбе Максима — тема столкновения государя с мудрецом, несправедливого осуждения философа.

Уже в первой, самой большой главе сборника, содержащей сочинения византийского писателя XIV в. Григория Синаита, Ионой Думиным отобраны для переписки тексты в защиту нестяжательских идей, явившихся одной из причин осуждения Максима Грека. Позднее в научной библиотеке МГУ была найдена и описана видным специалистом по греко-русским культурным связям Б. Л. Фонкичем рукопись сочинений и жития Григория Синаита с собственноручными пометами и замечаниями Максима Грека.

Вторая по порядку и величине глава сборника, Житие Александра Невского в редакции Ионы Думина, может рассматриваться как обширная иллюстрация идеального случая проблемы «государь и святой мудрец»: государь сам является святым, мудро заботящимся о сохранении чистоты православной веры, отстаивающим ее с равным умением и на поле боя, и в богословском споре. (Проблемы чистоты веры и методов борьбы с ересями и неверием занимают видное место и во время суда над Максимом Греком, и в сочинениях Афонца.)

Другим идеальным примером является комплекс из четырех глав, посвященный одному из наиболее авторитетных святых Русской Церкви — Кириллу Белозерскому. Они содержат развернутые наставления Кирилла великому князю Василию I, его братьям; эти наставления касались, среди прочего, такого деликатного вопроса, как княжеские семейные дела. И могущественные князья принимают советы старца.

Вскоре в главы сборника входит и важнейшая его тема — тема несправедливого осуждения мудреца судом нечестивых гонителей. Она является центральной для того талантливое сочинения самого Максима Грека, о котором мы уже упоминали: для эмоциональной «Повести страшной и достопамятной» о жизни и мученической кончине Иеронима Савонаролы (глава 9 Сибирского сборника). Начинается удивительная переключка рассказа Максима Грека об осуждении нестяжателя Савонаролы и материалов «Судных списков» об осуждении нестяжателя Максима Грека. Преследовавший Савонаролу по приказанию папы Иакин «поставил его на судилище и мучительно испытал его, и оному со дерзновением отвечающе противу всех лукавств несправедливого испытателя. И судии не могут обвинить его, свидетели лживы от части беззаконных... восташа на онаго преподобнаго и неповиннаго... носяще на нь тяжчайша их и несправедливых оглашений, им же повинувшися несправеднии они судия сугубую казнию осудиша его».

Помещение этого страстного рассказа в Сибирский сборник можно объяснить однозначно: 7-я глава сборника подготавливает читателя к соответствующей оценке материалов 39-й главы.

Тема несправедливого суда развертывается в ряде византийских материалов сборника, рассказывающих о гонениях на многих прославленных мудрецов и ученых. Открывает этот список знаменитых имен святитель Иоанн Златоуст: в сборнике помещено известное Сказание о патриархе Феофиле и Иоанне Златоусте, рассказывающее о гонениях царя и патриарха на великого философа, смело осудившего стяжательство, об осуждении Иоанна «младоумным собором», о запрете на его книги и о снятии запрета благодаря чудесному вмешательству самой Пречистой Богородицы. Далее в сборнике следует другой общеизвестный пример многолетних гонений праведного учителя — Житие великого святителя Афанасия Александрийского и еще несколько подобных текстов.

Таким образом, можно утверждать, что 39-я глава Сибирского сборника поставлена составителем в такое окружение, которое, совпадая во многом с этой главой тематически, противоположно ей по авторской позиции. Крайняя тенденциозность «Судного списка» Максима Грека, его открытая враждебность по отношению к мыслителю, сочинения которого переписываются в сборнике наравне с сочинениями Григория Синаита, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, приобретают новое смысловое звучание от соседства с несколькими рассказами о незаслуженных преследованиях благочестивых философов. Ни одно слово, ни одна оценка суровых обвинителей Максима не пропущены и не опровергнуты, но судебная расправа над

святогорским старцем поставлена в ряд столь многозначительных исторических прецедентов (осуждение Афанасия Великого, Иоанна Златоуста), что сама тенденциозность обличителей Максима оборачивается обличением их самих.

Мало того, этот эпизод русской церковной истории поднимается таким образом до уровня столь общих проблем средневекового мировоззрения, как отношение светской и духовной власти, царя и мудреца. Великие примеры, давно ставшие знаменитыми в византийской и русской литературах, оттеняют сочинения Афонца и псевдодокументальный рассказ о суде над ним. Ни одного прямого осуждения Василия III и митрополита Даниила в сборнике нет, однако подобный состав сборника подсказывает читателю не только конкретно-исторические, но и общеполитические оценки происшедшего в 1525 и 1531 гг.

Оценки эти закрепляются логическим завершением всего сборника. Его последнюю, 40-ю главу составляет известный византийский памятник VI в. «Изложение совещательных глав к царю Иустиниану, сложенных Агапитом, диаконом святейшая Божия Церкви». Этот классический памятник жанра наставлений правителю в XV–XVI вв. пользовался на Руси немалой популярностью. Царю Ивану Грозному особенно нравилось знаменитое определение царской власти, сделанное Агапитом: «Существом убо телесным равен человеком царь есть, властью же достоинства приличен Богу, иже над всеми, ни имат бо на земли себе высочайшаго». Царю эта формулировка говорила об обожествлении царской власти, что в его реальной политике оборачивалось мероприятиями по обожествлению конкретных носителей этой власти — путь, по которому охотно пойдут русские правители последующих веков.

Но царь обрывал цитату из Агапита на удобном для него месте, ибо следующая фраза дьякона была уже совершенно иной тональности: «Подобает убо ему (царю. — Н. П.), яко и смертну не возноситься, и яко Богу не гневаться. Аще бо и образом божьим почтется, но перстью земною смешен есть, сию ж научается равности, яже ко всем». Поучение Агапита наполнено мыслями о том, что царь должен быть милостивым, справедливым, должен судить нелицеприятно даже своих врагов, должен слушать благоразумных советников, а не льстецов.

Последняя мысль была, как мы говорили, особенно близка Максиму Греку. Пройдет несколько лет после почтительных бесед Ивана Грозного в келье Максима, и другой почитатель Афонца, князь Андрей Михайлович Курбский, считавший себя учеником Максима, выскажет царю все, что он думает об «издревле кровопийственном» роде московских государей и деспотическом самодержавии, доведен-

ном до безумия опричного террора. Курбский напишет, что виною всему коварный совет, который дал царю архиерей-осифлянин Васиан Топорков: «Аще хочещи самодержец быти, не держи себе советника ни единого мудрейшего себя». По мнению Курбского, царь воспользовался этой рекомендацией вскоре после смерти «мудрого советника» Максима Грека.

На грани XVI и XVII вв., когда создавался Сибирский сборник, заметно оживился общественный интерес ко многим излюбленным идеям и темам Максима Грека. Да и судьба его, особенно в сопоставлении со все более высокими оценками его сочинений, будила особые эмоции во времена конца «самодержавства» Ивана IV. Острые политические коллизии, столь драматично изменившие в 1525–1531 гг. судьбу беспокойного Святогорца, привлекали к нему далеко не беспристрастное внимание и тогда, когда все тяжелее ощущались последствия краха политики грозного царя и над страной уже нависла тень будущей Смуты. Ее приближение ознаменовалось, в частности, начавшимся под влиянием этого краха пересмотром некоторых идеологических установок недавнего прошлого.

Так, накануне Смуты начинает ощущаться необходимость изменений в тех двух политико-догматических сферах, проблемы коих выйдут на первый план во время церковной реформы Никона в середине XVII в. Это вопросы о соотношении русского и вселенского православия, духовной и светской власти.

Восточные славяне, оказавшиеся за пределами Московского государства под иноверной католической властью, переживают в XVI в. важный период подъема национальной и социальной борьбы, которая с конца этого века породит целый поток острых антикатолических сочинений. Борьба эта будет находить горячий отклик в Москве, а полемические украинские труды в защиту православия, против насильственного насаждения унии начнут постепенно все шире распространяться по Руси. В последние десятилетия были обнаружены новые удивительные свидетельства большой популярности этих трудов в России вскоре после Смуты.

Но с точки зрения официальной идеологии времен Василия III и Ивана IV после падения Константинополя в 1453 г. православие за пределами русских государственных границ является сомнительным и ненадежным. В частности, окатоличившимся, «пестрым» поклонники горделивых теорий инока Филофея о Москве — третьем Риме будут находить православие и украинцев, и белорусов, и греков. Мы помним, что несколько раз та же тема вставала и на соборах 1525–1531 гг., — и в связи с правомерностью исправления русских книг по греческим, и в связи с вопросом о поставлении русских

митрополитов в Москве. Митрополит Даниил так сформулировал позицию Максима в этом последнем вопросе: «И се убо глагола высокоумие и гордость, еже не ходити в бесерменскую Турецкую державу от патриархов ставитися от невернаго и безбожнаго царствия в митрополиты». Теория Москвы — третьего Рима закономерно используется против Максима Грека, и столь же закономерна его полемика позднее с этой теорией. Но тем понятнее интерес к Максиму на рубеже XVI и XVII вв., когда начинает ощущаться стеснительность этой теории для московских политических и церковных интересов, когда борьба Украины за освобождение от власти католической Польши и идеологические документы этой борьбы будут встречать в Москве все большее сочувствие и поддержку. Несомненно влияние Максима Грека на творчество Ивана Вишенского — одного из самых замечательных украинских публицистов, возглавившего эту полемику. Это же относится и к активной антикатолической деятельности даже столь ненавистной для Ивана IV фигуры, как князь А. М. Курбский.

В XVII в. Россия для того, чтобы выполнить важнейшую свою миссию этого столетия — помочь национально-освободительной борьбе украинцев и белорусов, — должна была менять отношение к милым сердцу Ивана IV политическим концепциям старца Филофея. Начинаясь важнейший этап активного воздействия украинско-белорусской культуры на культуру великорусскую. И не случайно кульминация всех этих споров о соотношении русского и вселенского православия, о допустимости исправления русских церковных книг, об украинско-белорусском православии во второй половине XVII в. ознаменуется и новой острой дискуссией о Максиме Греке.

Вполне понятен и интерес деятелей конца XVI — начала XVII в. к взглядам Максима Грека на взаимоотношения светских и духовных властей. Учреждение в 1589 г. патриаршества на Руси завершило наилучшим способом старый спор Максима и его судей и в то же время способствовало укреплению авторитета высшей церковной власти. Тем неуместнее был обычай Ивана Грозного решать сложные проблемы отношения с церковными иерархами в прямом смысле руками Малюты Скуратова. В этой связи становится понятным интерес к личности митрополита Филиппа Колычева, задушенного Малютой в 1569 г. Как ни стремится созданная в те годы первая (колычевская) редакция жития Филиппа старательно обойти все острые углы, это начало того пути, в конце которого будет перенесение патриархом Никоном мощей святого мученика в Москву и унижительная церемония покаяния Алексея Михайловича в этом преступлении Ивана Грозного. Осуждение собором, послушным воле Василия III, мудрого Святогорца могло восприниматься читателями конца XVI в. как прелюдия к трагедии Филиппа Колычева.

Таковы лишь некоторые обстоятельства, способствовавшие в конце XVI в. благородной деятельности Ионы Думина по реабилитации памяти любимого им философа. Мы видели, как в Сибирском сборнике он использовал тенденциозность «Судного списка», тенденциозность судилища над Максимом для осуждения самих судей.

Конечно, это осуждение скрытое, при всей его резкости. Но вряд ли иное было тогда возможно для видного церковного иерарха, лица официального, каким являлся вологодский архиепископ (а позднее митрополит Ростовский) Иона Думин. Лишь на юбилейном архиерейском соборе РПЦ в 1988 г., когда сведения Сибирского сборника о ложности обвинений, выдвинутых против Максима Грека более 450 лет тому назад, станут широко известны, упрямый Святогорец будет причислен к лику святых вместе со своим давним почитателем митрополитом Макарием.

Другая загадка, ставшая особенно непонятной после обнаружения Сибирского текста «Судного списка», относится к поведению Максима Грека на суде 1531 г.

Он, несомненно, не напуган судилищем, во всяком случае — вторым, 1531 г., когда прошло шесть лет его стойкого и упрямого сопротивления тюремщикам Иосифо-Волоколамского монастыря. Возможно, есть доля истины в предположении А. А. Зимина о том, что в 1525 г. Максим мог сперва надеяться благополучно выпутаться из всей этой истории. Но все следующие годы он ведет себя с удивительным мужеством. Материалы 39-й главы Сибирского сборника (и особенно письмо митрополита Даниила) впервые со всей отчетливостью показали, какой жестокий тюремный режим без права устного и письменного общения определили ему в 1525 г. и как непокорно вел себя Максим во время этого заточения. «Он же покаяния и исправления не показывал и неповинна во всем себе глаголяше и отреченная мудрствоваше, и послания писаша», — констатировали в 1531 г. его тюремщики.

Свои показания на соборе 1531 г. он чуть ли не начинает с крайне резких упреков в адрес митрополита. В связи с вопросом о поставлении русских митрополитов в Москве он говорит такие смелые слова о митрополите и великом князе, что никаких надежд на сколько-нибудь благополучный исход суда у него оставаться не могло. Обвинения в шпионаже, «политической уголовщине» он разбивает, как уже говорилось, стойко и умело. Не отрекается он на суде и от своих нестяжательских убеждений, а однажды даже переходит в смелую

контратаку, откровенно заявив, что он осуждал стяжательскую практику Пафнутия Боровского, признанного патрона стяжателей-иосифлян, которого вскоре после суда над Максимом 1 мая 1531 г. иосифлянское руководство объявит «святым». Максим же восклицал на суде: «Он держал села, и на деньги росты имал, и люди и слуги держал, и судил, и кнутъем бил, ино ему чудотворцем как быти?»

В то же время в других случаях он ведет себя очень странно. Это относится в первую очередь к длительному судебному разбирательству по многим догматическим обвинениям. Одной из задач, которые великий князь и церковное руководство поставили перед Максимом, когда он приехал в Москву, было очищение русских богослужебных книг от накопившихся за века описок и погрешностей путем сравнения их с авторитетными греческими подлинниками. На суде же ряд именно таких исправлений был вменен ему в вину и квалифицировался как явные ереси. И он, искусный языковед, не решается на суде доказывать справедливость своих исправлений, хотя сделать это предельно просто. Он уходит от прямых вопросов обвинения, на которые ему так нетрудно ответить, — молчит, ссылаясь на возможные описки в абсолютно правильных греческих текстах или даже пытается свалить вину на своих помощников. Те уличают его на очных ставках, и он опять молчит, к вящей радости организаторов суда. И это даже в тех случаях, когда ошибки в русских богослужебных книгах настолько очевидны, что Русская Церковь должна будет в конце концов согласиться с исправлениями Максима, — правда, через 120 лет после суда над ним, при патриархе Никоне (например, в Символе веры). Но он не решается открыто сказать на суде об ошибке в русском тексте главного догматического документа православия и утверждает, что правка была сделана без его ведома. Михаил Медоварцев, его ближайший сотрудник, тут же опровергает это, сообщив, что исправление приказал ему сделать сам Максим в соответствии с греческими книгами.

Я неоднократно подчеркивал эту загадочную непоследовательность поведения Максима на суде, выступая в Москве и Ленинграде с докладами о «Судном списке». При обсуждении этих докладов было высказано два интересных предположения о возможных путях решения этой загадки. Вероятнее всего, оба предположения справедливы и идти следует обоими путями.

Н. В. Сеницына предложила объяснять нежелание Максима ввязываться в догматические споры на суде тем, что в накаленной обстановке тенденциозного судебного разбирательства было нелегко вести дискуссию по самым сложным вероучительным проблемам

православия, — Максим предпочел это сделать неторопливо и обстоятельно позднее, в большом цикле своих сочинений, написанных в ответ на обвинения.

Я. С. Лурье предположил, что Максим намеренно отказывался на суде от такой защиты, которая могла бы нанести хоть какой-то урон догматическому авторитету Русской Православной Церкви, которую он считал главной силой, способной укрепить ортодоксальное греческое православие во всем мире; в связи с этим Я. С. Лурье предлагал внимательнее посмотреть на соотношение в творчестве Максима православной ортодоксии и идей Возрождения.

На наш взгляд, оба эти объяснения не противоречат друг другу. Максим, несомненно, не сумел бы в накаленной враждебной обстановке соборного судилища выполнить ту труднейшую задачу, которую он в конце концов решил всей огромной совокупностью своих сочинений: доказать жестоким и непримиримым тюремщикам свою правоту, сделав это так, чтобы не нанести ущерба догматическому авторитету Русской Церкви, но способствовать ее укреплению. Он хотел, чтобы его немалые знания, опыт, почерпнутый в греческих и итальянских культурных центрах, принесли пользу его новой родине (которую в сочинениях своих он всегда называл «богохранимой Русской державой»). Это, несомненно, означало для него и добросовестное выполнение той задачи, ради которой в 1518 г. ему было предложено воспользоваться гостеприимством московского великого князя, — помочь Русской Церкви в борьбе с ересями, осуществить переводы тех важнейших богословских сочинений, потребность в которых так остро сказалась во время трудных идейных схваток с еретиками XV — начала XVI в. Максим был уверен, что важнейшей частью этой задачи является и сближение русского православного обряда со вселенским путем исправления накопившихся в русских богослужебных книгах неточностей по наиболее авторитетным греческим оригиналам, совершенствования перевода и т. д. Сначала казалось, что его работодатели понимают важность этой цели так же, как и он. Тем страшнее прозвучали на суде обвинения в преступной порче книг и еретичестве, перечеркивающие все его дело. В написанных после суда сочинениях он будет доказывать свою правоту по основным вопросам судебного спора. Но в двух случаях он в этих сочинениях, явно заботясь о сближении Русской и Греческой Церквей, пойдет за русским, а не за греческим обрядом — в вопросах о двуперстии крестного знамения и о произнесении «Аллилуйя» в молитвах дважды, а не трижды. Через век, во время никоновской реформы, именно эти вопросы станут причиной ожесточенного спора, а имя Максима станет популярнейшим в старообрядческой среде.

Теперь об идеях Возрождения и православной ортодоксии в творчестве Максима. Хотя в его русских сочинениях немало важных строк, выдающих мыслителя Возрождения, это относится прежде всего к методу, приемам научной критики, арсеналу фактов из античной истории и литературы. А вот как раз идеи совсем иные, враждебные духу итальянского Возрождения — защита ортодоксальных догм православия, причем и цитируемым античным авторам достается немало. Его еще в Италии испугало безбрежное «самовластье разума» у итальянских гуманистов, и он вполне искренне захотел ограничить его твердыми догматами веры, победить легкость нравов позднего Возрождения проповедью христианской аскезы (в этом несомненное влияние Савонаролы). Посвятив дальнейшую жизнь свою защите православной ортодоксии, он не мог не видеть в московской Церкви наиболее значительную реальную силу, способную на деле поддерживать незыблемость православных догм. Сначала он даже настойчиво рекомендовал московским властям перенять успешный опыт испанской инквизиции в деле обеспечения чистоты веры; лишь Василий Патрикеев убедил его оставить эти мысли.

Митрополит Макарий, включавший сочинения отлученного от Церкви Афонца в свои Великие Минеи Четьи, более всего ценил в них умелую защиту и укрепление богословских постулатов восточного христианства. Но для историка отечественной культуры особенно важны и гуманистическая, и научная стороны его творчества.

Значение трудов Максима Грека в истории русской культуры велико, но все же не как глашатай идей итальянского гуманизма, Возрождения был приглашен он в Россию. Он был призван сюда, чтобы помочь Церкви в борьбе с теми самыми русскими ересями, которые нынешние исследователи все увереннее называют главным элементом в ситуации русского «предвозрождения» и гибель которых, по мнению Д. С. Лихачева, не позволила развиваться этой ситуации в русское Возрождение. Максим Грек активно и умело вел борьбу с еретиками и прочими врагами православия, применяя лучшие из известных ему методов полемики, критики, широко заимствуя достижения филологии Возрождения, опираясь на большой круг произведений византийской литературы, не раз вспоминая и античных философов, писателей. Делал это он с ревностным желанием укрепить идеологическую силу и авторитет православия, и прежде всего Русской Церкви, огромную реальную мощь которой он видел и приветствовал. Соборных старцев раздражало и его осуждение роскошной, богатой жизни церковных иерархов, далекой от принципов христианской аскезы, и его нестяжательские убеждения, ненависть к феодальному монастырскому землевладению, его надежда в интересах самой же

Церкви «исправить» церковную жизнь с позиций, близких к проповеди Савонаролы. Они лучше самого Максима видели, что именно здесь он подчас сближается со столь ненавистными ему еретиками, также выступавшими против земельных и прочих богатств Церкви, обличавших нравы церковных иерархов. И недаром дворецкий Захарьин обвинил на суде Максима, что в Италии католический его учитель, сожженный папой (Савонарола), обучил его «жидовской ереси». Против иудаизма Максим Грек не раз выступал со строго ортодоксальных позиций. Но в русской ереси «жидовствующих» было немало ярких нестяжательских черт, близких к идеям Савонаролы и Максима.

Соборные старцы с крайней подозрительностью вчитывались в сочинения Максима, в которых он искренне и квалифицированно отстаивал основы православной догматики. Из лингвистических ошибок и описок они конструировали «максимовы многия хульные ереси». (Точно так же из вольных размышлений о внешней политике Василия III они создавали протурецкий шпионаж Максима.) Под влиянием теории о превосходстве московского православия над греческим, теории Москвы — третьего Рима они инкриминировали Максиму то умелое исправление русских богослужебных книг по греческим, для которого его вызвали в свое время на Русь.

Соборных старцев страшили методы, которыми Максим стремился укрепить боеспособность московского православия в борьбе с ересями, католицизмом, лютеранством, магометанством, иудаизмом. Но если отбросить фальшивые обвинения Максима в еретичестве, то кое-что в этом страхе можно будет понять. «Чудовская академия» Максима была явлением новым и пугающим. XV в. уже приучил церковное руководство со страхом всматриваться в любые широкие богословские споры — не было еще достаточно проверенного аппарата идеологического контроля, за ними всюду чудились ереси и подрыв церковного авторитета. Максим и не помышлял о подрыве идеологической монополии Церкви, наоборот, стремился к ее укреплению, но его аргументы и методы были новы, его эрудиция (и не только богословская) превосходила знания многих осифлянских (стяжательских) владык. А мысль о том, что Церкви придется вскоре вести идеологические бои на этом новом, более высоком уровне и что знания Максима тогда очень пригодятся, — эта мысль была доступна не всем. То, за что ратовал Максим (и что частично было на Руси известно и до него), — более широкое привлечение сочинений византийских философов, а изредка даже мыслителей античного мира, хорошее знание католических и прочих противников, применение методов лингвистической критики, научной текстологии — все это под пером

Максима укрепляло авторитет православной ортодоксии. Но так ли будет всегда? Не спокойнее ли без этих новшеств?

Здесь очень интересна параллель с другим новшеством. Через три года после того, как митрополиту Макарию удалось наконец освободить Максима из 26-летнего заточения, «в лето 1554 начато бысть печатание книг на Москве при митрополите Макарии». Умный и высокообразованный глава Русской Церкви, конечно, хорошо видел всю пользу этого важнейшего новшества; понимал он, как ценно для страны, в храмах которой часто не хватало богослужебных книг, получить сразу тысячи экземпляров «Апостола», «Евангелия», «Триоди постной». Да еще с единым, тщательно выверенным текстом — вместо многочисленных описок в рукописях. Введение печатных книг в церковную практику отвечало непосредственным интересам Церкви. Ну а что можем сказать теперь мы из далекой перспективы XXI в. о конечном влиянии печатного станка на предельное разнообразие общества Нового времени?

Вспомним, что энтузиазм Макария по поводу книгопечатания разделяли далеко не все. Конечно, они не думали о далеких последствиях этого события. И дело не в одной лишь боязни переписчиков книг остаться без хлеба — переписка книг расширялась на Руси и во второй половине XVI, и в XVII в. Дело в самой обычной, понятной средневековой осторожности перед лицом невиданного новшества, хотя как будто и во славу Церкви творимого.

Но вернемся к Максиму. На суде он оказался в отчаянно сложном положении. Его судила та сила, служению которой он посвятил себя. В которую верил как в главную опору мирового православия и будущую освободительницу Греции. Которой он настойчиво и квалифицированно советовал, что и как следует делать в ее же интересах. Церковь в 1525 и 1531 гг. не приняла этих советов «неведомаго и незнаема человека, новопришедшего ис Турецкие земли» (так аттестовал Максима митрополит Даниил), и сочла его советы крайне подозрительными. Максим яростно защищается на суде против многочисленных ложных обвинений, но в догматических вопросах он чаще всего не решается открыто посягать на богословский авторитет собора, олицетворявшего высшую власть в Русской Церкви. И позднее, в заточении, упорно настаивая на своей полной невиновности, он будет с подчеркнутым почтением относиться к догматическому авторитету Русской Церкви и к «богохранимому» московскому самодержавию, провозглашать (как и на суде) единство греческого и русского православия.

В определенном смысле можно сказать, что Максим одержит легкую победу в этой трудной игре. За двадцать шесть лет заточения,

нимало не подчиняясь соборным требованиям о молчании, покорности и раскаянии, он убедит тюремщиков в своей дружбе и полезности. Правда, вернуться на Афон ему так и не разрешат, несмотря на все его просьбы, несмотря на ходатайства вселенских патриархов. Но его догматические и полемические сочинения оценят, они будут приняты Церковью и государством, рекомендованы верующим для чтения, будут, наконец, признаны в качестве полезного оружия в борьбе за чистоту веры. Нестыжательские мысли и обличения Максима будут по душе Ивану Грозному. Максим сможет создавать все новые сборники, все новые редакции собрания своих сочинений, и влияние их будет расти и в XVI, и в XVII вв. Последствия этого влияния многообразны и противоречивы, но это особая тема.

Новые филологические методы, приемы полемики, пропагандируемые Максимом, новые авторитеты, чьи голоса звучали со страниц самых ортодоксальных его сочинений, оказались в России первой половины XVI в. достаточно пугающими, чтобы обеспечить упрямому Афонцу два отлучения и четверть века заточения.

И вместе с тем острая необходимость в его сочинениях и методах будет все сильнее ощущаться уже в XVI в., а некоторые из предложенных им принципов и общее направление книжного исправления осуществляются в конце концов в церковной реформе середины XVII в.

Он пришел слишком рано и поплатился за это суровым осуждением и тяжкими годами неволи. Но он пришел вовремя, чтобы увидеть в конце жизни завоеванную упорной борьбой победу и начало своей долгой славы.